

Геннадий Красухин
Стёжки ~
дорожки

Литературные нравы
недалёкого прошлого



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2005

ББК 84(2Рос=Рус)6
К 78

Красухин Г. Г.

К 78 Стёжки дорожки: Литературные нравы недалёкого прошлого. — М.: Языки славянской культуры, 2005. — 264 с.

ISBN 5-9551-0080-6

Автор этой книги после окончания в начале 60-х годов прошлого века филологического факультета МГУ работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по кинематографии, в журналах «Семья и школа», «Крутозор» и «РТ-программы». В 1967 году он был приглашён в отдел русской литературы («Литературной газеты»), где проработал 27 лет. В этой книге, где автор запечатлел вехи своей биографии почти за сорок лет, читатель встретит немало знаменитых и известных в литературном мире людей, почувствует дух не только застойного или перестроечного времени, но и нынешнего: хотя под повествованием стоит совершенно определённая дата, автор в сносках комментирует события, произошедшие после.

Обращённая к массовому читателю, книга рассчитана прежде всего на любителей чтения мемуарной литературы, в данном случае обрисовывающей литературный быт эпохи.

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-9551-0080-6



© Г. Г. Красухин, 2005

© Языки славянской культуры, 2005

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Ещё и ещё раз оглянись на свою жизнь и проси прощения за всё, что всплывает в твоей памяти: за злословие, за эгоизм твоих мыслей, за всякое критическое суждение о других, которое тебя занимает и лишает тебя покоя...

Блаженный Хосемария Эскрива

В университет я поступил случайно. Шли мы со школьным приятелем по Моховой и увидели объявление, крупно написанное на огромной доске, стоящей у забора перед красивым жёлтым зданием. В этом здании нынче размещается журфак, который тогда меня не привлекал (я ходил в знаменитое в те годы литературное объединение «Магистраль» и подумывал о Литературном институте). Но мы прочли, что МГУ объявляет приём на вечернее отделение не факультета журналистики, а исторического и филологического. Приём документов заканчивался дня через три. И сразу же начинались экзамены.

Подумав, я решил сдавать на филологический исключительно для тренировки. До экзаменов на дневном отделении времени было ещё много. А экзамены во все гуманитарные вузы были одинаковыми: сочинение, устные русский и литература, история СССР и немецкий (это для меня, а для тех, кто учил французский или английский, соответственно они). С документами сложностей не было: медицинскую карту я получил на следующий день в поли-

клинике, далеко не пятёрочный аттестат валялся в моей тумбочке, а справку с работы мне и вовсе выдали без проблем: уже почти два года я работал радиомонтажником на заводе «Полиграфмаш», куда устроил меня отец — главный механик этого завода и куда я пошёл, соблазнившись названием: всё-таки полиграфия!

Сочинение я писал на так называемую «свободную» тему: «Советский Союз — оплот мира и безопасности». Регулярный читатель «Правды» и «Литературной газеты» я, почти не думая, катал страницу за страницей шаблонные блоки об агрессивной политике НАТО, о миролюбивом Варшавском пакте, о только что прошедшем в Москве Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Вспомнил я и о том, как сумели силы мира и прогресса, возглавляемые Советским Союзом, остановить тройственную агрессию Англии, Франции и Израиля против Египта. Заклеймил американцев за их поддержку антинародного режима шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в Иране. И был очень тепло встречен на устном экзамене двумя преподавателями. С одним из тех, кому я отвечал по литературе, я сблизился уже через много лет после окончания университета. Это был Владимир Николаевич Турбин.

Турбин спросил, почему я выбрал именно свободную тему, и весело хмыкнул, услышав, что свободная даёт больше простора для воображения. Это потом до меня дошло, как разочаровал я его своим ответом. Турбин, влюблённый в классическую литературу, не терпевший трескучей советской демагогии, прочитал политинформацию-сочинение и отказался слушать новую политинформацию на тему: «Образ настоящего человека в повести Бориса Полевого». «Да, — сказал он, — про Мересьева можете не рассказывать: верю, что знаете, а вот об основах стихосложения, пожалуйста, поподробнее!»

Поподробнее, так поподробнее! Ямб? Пожалуйста, трёхстопный, четырёхстопный, пятистопный! Хорей? Ради Бога, вот вам примеры чистейшего хорей! Дактиль? Дактилическая рифма? Кто чаще всех её использовал? Некра-

сов! По счастью, я писал стихи и всякий раз пересчитывал в них ударные и безударные. И определять размер стихотворений поэтов, которых я любил, было для меня удовольствием.

«Пятёрку» по истории СССР я получил, как оказалось, единственным во всём потоке. Ничего удивительного в этом не было: билеты и вопросы экзаменаторов были пересыпаны съездами партии, о которых я обожал читать. Дома у отца было красное третье ленинское собрание сочинений с очень интересовавшими меня комментариями — подлинными документами всякого рода оппозиций, со всеми фамилиями под этими документами. А у старшего брата отца сохранились стенограммы кое-каких съездов и наиболее громких судебных процессов, которые я тоже читал как занимательный роман. Словом, я знал все съезды поштучно: когда какой проходил, какие вопросы на каком обсуждались и какую именно громили оппозицию. Запарившись, гоняя меня по левым и правым уклонам, оба экзаменатора рекомендовали мне идти на исторический, если я не поступаю сейчас.

Нет, высокого количества баллов я не набрал, но их оказалось достаточно, чтобы моя фамилия появилась в списке зачисленных на вечернее отделение филфака. И здесь я задумался.

— А если я заберу документы и буду поступать на дневной? — спросил я пожилую даму в учебной части.

— Пожалуйста, — холодно ответила она. — Забирайте и поступайте.

— А если не поступаю, смогу восстановиться на вечернем?

— Что значит «восстановиться»? Вы и дня ещё не проучились! Будете поступать снова в будущем году!

Иначе говоря, синица или журавль? Рисковать не хотелось. И я остался на вечернем.

Но когда дошло до дела, то есть до учёбы, понял, что пяти лет мне не выдержать. Завод мне был совершенно чужд. Правда, мне платили неплохие деньги, на которые мы частенько посиживали с приятелями в шашлычной на Арбате,

или в чешском баре в Парке культуры имени Горького, или в каком-нибудь ресторане в центре. Но тянуло меня к литературе и в литературу.

Тем более что как раз в это время Женья Храмов, первый поэт, которого я увидел в своей жизни и который направил меня в «Магистраль» — очень мощное литературное объединение, стал уверенно обещать мне подборку стихов в «Юности», где Женья работал литконсультантом. Собственно с этого и началось наше знакомство. Ещё в десятом классе я послал в «Юность» свои стихи, Храмов мне позвонил, и мы договорились о встрече на Цветном бульваре, где располагался тогда журнал. Теперь Женья говорил, что сам заведующий отделом поэзии Коля Старшинов хочет меня напечатать, но что для полновесной подборки не хватает «паровозов», то есть оптимистических стихов, которые бы вытянули мои нравящиеся ему, но с налётом пессимизма. «Паровозы» у меня не получались, и я стал подозревать, что при таком ритме жизни мне просто не хватает времени. К тому же и вечерние занятия в «Магистрале» мне пропускать не хотелось. Григорий Михайлович Левин, наш руководитель, умел их делать очень интересными. То встреча с Беллой Ахмадулиной, то с Борисом Слуцким, а то и участники нашего объединения выдавали такое, что надолго врезалось в память: вдруг запел Булат Окуджава, прочитал первые свои рассказы Владимир Войнович, набирал силу Саша Аронов, про которого Григорий Михайлович сказал: «Покрупнее будет поэт, чем Вознесенский».

Но как перейти на дневной? Что весь первый курс я обречён учиться на вечернем, это я понимал. Ну а после первого? Мне говорили, что нужно будет подать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия во главе с замом декана Михаилом Никитичем Зозулей. Но что комиссия эта редко кого переводит. Разве что по знакомству. А я не знал ни Зозулю, ни кого-нибудь другого из университетского или факультетского начальства.

Заявление я подал сразу после окончания первого курса. И немедленно получил отказ. Его причины мне не объясни-

ли. А вот такую же просьбу моего сокурсника, который работал курьером декана Самарина, удовлетворили, как он мне похвастал, единогласно. Было от чего начать роптать на судьбу!

Но судьба, как известно, переменчива. Только я собрался на неё роптать, как обнаружилось, что у меня в университете есть мощный покровитель. Точнее, не есть, а будет, если я к нему пойду знакомиться. А я пойду, потому что он сам назначил мне встречу.

Об этом мне сказал отец, который случайно разговорился со своим коллегой по заводскому партбюро. Коллега возглавлял в Подмосковье дачный кооператив старых большевиков и был в прекрасных дружеских отношениях с одним из дачников — проректором МГУ Григорием Даниловичем Вовченко. Узнав, что у меня в МГУ возникли проблемы, приятель Вовченко вызвался мне помочь. И вот я еду в ректорат на Ленинских горах, где секретарша очень приветливо впускает меня в огромный кабинет с большим столом, над которым высится крупный хозяин, дружески мне улыбаясь и пожимая руку.

— Соедините меня с Зозулей, — говорит он секретарше.

— Ну что, Михал Никитич, — благодушно говорит он в трубку, — помнишь, как мы с тобой советскую власть на Украине устанавливали? Чего не звонишь? Я-то вот чего звоню: есть у тебя на вечернем студент Красухин, — он листает мою зачётную книжку, — перешёл на второй курс, одна четвёрка всего, остальные — пятёрки. Хочет перейти на дневной. Я думаю, что ему надо помочь. Что? — он недовольно морщится. — Ну, один раз отказала, а он опять подаст. А ты ему помоги. Договорились? Лады! Завтра же он к тебе и зайдёт. Ну, хорошо, раз ты такой бюрократ, то он завтра подаст заявление. А ты помоги. Договорились?

Однако на заседании комиссии, на которую на этот раз меня вызвали присутствовать, Зозуля вёл себя с нескрываемой враждебностью. «От армии отлыниваем!» — сказал он мне. «На нас давит ректорат, — объявил он членам комис-

сии, — Красухина хотят перевести по блату. А мы по блату никого не переводим». «Ясно? — спросил он меня. — Можете идти?»

Через короткое время я снова оказался в кабинете Вовченко.

— А ведь обещал, — досадливо сказал тот о Зозуле. — Ладно, обойдёмся без него.

Оказывается, на Моховой как раз напротив нашего факультета располагалась приёмная Донченко, помощника проректора, который очень почтительно принял от меня заявление с резолюцией Вовченко и сказал, что недели через две приказ будет подписан.

— Деканом? — повторил он мой вопрос. — Нет, подпишет ректор.

И я оказался на дневном, правда, приобретя могущественного врага, который иначе как «блатмейстер» меня при встрече не называл. Даже когда в университете случилось ЧП: на одной из лекций мы обнаружили в столах листовки, призывающие не ходить «на выборы без выбора», после чего нас стали вызывать по одному в кабинет Зозули, он спросил меня: «Ну что, блатмейстер? Вы, конечно, тоже не знаете, кто принёс на факультет эту гадость?»

Почему он отнёсся ко мне с такой неприязнью, что даже не выполнил своего обещания Вовченко (хотя не мог не понимать, что у ректората есть все возможности настоять на своём), я не знаю. Могу только предположить, что унизил властного и амбициозного Зозулю тем, что он уже однажды отказал мне в переводе и менять своих решений не любил и не собирался. Объясись Вовченко раньше, перед тем, как я подал первое заявление о переводе, и меня, возможно, перевели бы с не меньшим энтузиазмом, чем курьера декана. Ведь подумать только: на комиссию не произвело никакого впечатления, что уже на первом курсе «Литературная газета» напечатала небольшую мою заметку о современной поэзии: я был единственным на курсе студентом, выступившим в большой прессе! И я в первом своём заявлении нажимал на это обстоятельство, — не на то, конечно, что был един-

ственным печатающимся первокурсником, а на публикацию: просил, опираясь на неё, перевести меня на дневной, чтобы я смог сосредоточиться на учёбе и на литературной работе.

Это было время хрущёвского возвращения к рабфаку, когда в институт принимали только тех, кто имел не меньше двухгодичного рабочего стажа. Перейдя на дневной, я обнаружил, что вечерники, пожалуй, были посильнее. Всё-таки они были вчерашними школьниками, от которых не требовалось никакого стажа — только справка с текущей работы. А здесь я смотрел на своих сокурсников и недоумевал: что привело большинство из них на филологический? Неначитанных, не любящих литературы? Я-то думал, что дневной будет нечто вроде нашей «Магистральной». А он оказался не похож на сообщество людей, объединённых родственными интересами. Унылая серость и равнодушие царили на факультете. Лекции на дневном отделении и особенно семинары нередко перебивались элегическими воспоминаниями преподавателей о том, какими прежде были их студенты. И они были правы в своих ностальгических чувствах. Наш курс и в самом деле не выпустил ни приметных филологов, ни заметных критиков. Припоминаю только недавно умершего Юру Кашкарова, который в конце семидесятых оказался в Америке, сблизился с Романом Гулем и после его смерти возглавил нью-йоркский «Новый Журнал», где печатал и собственную, неплохую прозу.

Не скажу, что мне вообще не нравилось учиться на филфаке. Я с удовольствием занимался исторической грамматикой, любил лекции Николая Ивановича Либана по древнерусской литературе, оценил Виктора Дмитриевича Дувакина, который читал нам литературу начала XX века, время от времени цитируя наизусть не называемых им крамольных поэтов, — приятно было узнавать Гумилёва, Северянина, Бальмонта, которых я ещё прежде переписывал в Ленинке в свою тетрадку. И всё-таки тон на факультете задавали не эти преподаватели.

Не только студенты боялись Алексея Ивановича Метченко, но и преподаватели. Малограмотный исследователь

Маяковского нередко выступал с погромными статьями в «Коммунисте». (Особую ненависть вызвала у меня его статья о «Тарусских страницах» и о напечатанной в этом альманахе повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!»)

Вальяжный Роман Михайлович Самарин, разоблачённый как бериевский сексот и снятый за стукачество с деканов, был оставлен заведовать кафедрой иностранной литературы. И сдавать ему экзамены было невыносимой мукой. Кажется, что ему доставляло удовольствие возвращать студенту зачётку со словами: «Придёте, когда выучите!» К нему приходили пересдавать экзамен по пять, по шесть раз, — до тех пор, пока он не смягчался: «Ну, хорошо, тройку вы заработали».

Не помню фамилии той, кому я сдавал основы литературоведения. Курьёзно, но мне выпало отвечать по тому же вопросу, что и на вступительных экзаменах, — о стихотворных размерах. Но в отличие от Турбина, экзаменаторша вдруг резко меня остановила: «Кого вы цитируете?» «Гейне», — ответил я. «В каком веке он жил?» — «В девятнадцатом». — «А когда поэты обращаются к дольнику?» — «В России, — говорю, — многие метрические новшества ввёл Фет. В частности, его стихотворение начала шестидесятых "Свеча нагорела. Портреты в тени..." написано дольником. Но особенно популярен дольник у поэтов конца девятнадцатого — начала двадцатого века». — «А Гейне тут причём?» «Но Гейне ведь не русский поэт, — объясняю. — Он мог обратиться к дольнику раньше, чем это сделали в России. Да и цитирую я его в переводе Блока». «Значит, — сказала мне преподавательница, — вы считаете, что Блок мог перевести Гейне дольником?» «Так считают Тимофеев и Венгров, — отвечаю. — В их "Кратком словаре литературоведческих терминов" приведена именно эта цитата как пример дольника». «Словом, — прервала наши учёные дебаты экзаменаторша, — больше тройки вы не заслужили!»

Было не обидно, а смешно. Я не был отличником и не мечтал о красном дипломе, но такие вещи отбивали охоту к учёбе. Конечно, не все, далеко не все преподаватели были

неграмотны, как эта, или подозрительны и злы, как Метченко и Самарин. Я любил Льва Антоновича Чешко (русский язык) и Николая Алексеевича Фёдорова (античная литература). Завораживал своими лекциями Сергей Михайлович Бонди, который помимо прочего очень артистично читал стихи Пушкина. Но большинство преподавателей было так же равнодушно к своим предметам, как их студенты. И я переключился в основном на собственные стихи и статьи.

В «Юности» обещанная Храмовым подборка так и не появилась, но зато первую же мою курсовую работу напечатал отдел критики журнала «Молодая гвардия» и заказал ещё статью. Тут же попросила написать им о поэзии «Литературная газета». Напечатала большую статью «Москва». Я так хорошо устроился, что очередную статью потом проводил как курсовую работу за год, неизменно получая за неё пятёрку от Владислава Алексеевича Зайцева, руководителя семинара «Современная советская поэзия».

Словом, на четвёртом курсе я изнывал от скуки в университете и оживлялся, работая по заказу для какой-нибудь редакции. За статьи неплохо платили, что для нашей семьи было очень важно. Я женился рано, на однокурснице, коляска с сыном, пока мы с женой по очереди сидели на лекциях, нередко стояла во дворе университета, благо жили мы недалеко. Двух стипендий нам, конечно, не хватало, и мой гонорар часто нас спасал.

И всё-таки надо было думать о постоянном заработке. Университет ещё не был закончен, но это меня не смущало: меня знали в редакциях, и я мечтал, в какую-нибудь из них устроиться.

И вот — улыбка Фортуны! Только я это про себя решил, как в журнале «Москва», куда я зашёл вычитывать гранки своей статьи, встречаю Александра Львовича Дымшица, про которого я знал, что он поссорился с Кочетовым и ушёл из «Октября» из-за Солженицына. Дымшиц написал положительную рецензию на «Один день Ивана Денисовича», а Кочетов расценил это как предательство. Мы не были близко знакомы, но при встрече раскланивались.

— Александр Львович, — сказал я, — у вас нет на примете какой-нибудь редакторской работы?

— Для кого? — спросил Дымшиц.

— Для меня.

Дымшиц весело посмотрел на меня и сказал: «А вы оставьте мне свой телефончик, очень может быть, что я скоро вам позвоню».

Он позвонил даже быстрее, чем я думал, — дня через три. И предложил работу во вновь создаваемом Госкомитете по кинематографии.

— И какого рода будет эта работа? — спросил я удивлённо, поскольку до этого никогда не имел дела с кино.

— Редакторская, — коротко ответил Дымшиц и добавил. — Будете работать у меня. Завтра придёте в отдел кадров по Малому Гнездиновскому переулку (он назвал дом) со всеми документами — паспортом, дипломом. Что? У вас нет диплома? — он задумался, выслушав мой ответ. — Хорошо, — сказал он, услышав от меня, что ради такого дела я готов перевестись на заочный, — переводитесь, только не тяните, приходите в отдел кадров и подавайте заявление. Они в курсе.

Понимаю тех, кто поморщится от одного только имени моего покровителя. Дымшиц так и остался в истории литературы с репутацией свирепого гонителя талантов. Его размовка с Кочетовым из-за Солженицына объяснялась только благосклонностью к первой солженицынской повести Хрущёва, а Александр Львович в отличие от твёрдокаменного Кочетова всегда держал нос по ветру. Оправдывать его не собираюсь. И всё-таки повторю то, что позднее мне рассказывал о нём Владимир Михайлович Померанцев, который в одно время с Дымшицем находился в советской оккупационной зоне Германии. До создания ГДР Дымшиц практически был министром культуры зоны, которого немцы полюбили за... либерализм. Да-да, в то время он был либералом, и его коллеги в Германии (тот же Померанцев) знали его как умного, интеллигентного человека, который едко отзывался о бездарных новинках, во множестве печат-

тавшихся в советских журналах, и сочувственно — о том немногом, что было отмечено талантом. А потом его словно подменили. Конечно, это он переменялся сам, вернувшись в Россию в самый разгар набравшей силу кампании борьбы с космополитами (читай: с евреями!). И страшно испугался этой кампании: стал клеймить заклеянных и обслуживать погромщиков.

Он выбрал для себя определённую позицию и от неё уже не отступал. Но при этом, говорил мне Владимир Михайлович, был способен на щедрые дружеские жесты. Например, когда за статью «Об искренности в литературе» Померанцева не топтал только ленивый, когда его не только не печатали, но отрезали пути к любому заработку, Дымшиц почти насильно всучил ему крупную сумму денег, категорически оговаривая, что возвращать её ему не нужно.

Чужая душа, как известно, потёмки. Помнится, как тщательной и любовно готовила «Библиотека поэта» первую после гибели Мандельштама книгу стихов этого поэта. Была написана и вступительная статья. Но министерские и цеховские чиновники добро этой книге не давали. И не дали бы, если б кому-то в редакции не пришло в голову заказать новую вступительную статью Дымшицу. Он согласился. Конечно, книжка стала хуже, в статье было немало укуса, но ведь книга вышла! И дала возможность другим изданиям потихоньку публиковать стихи уже не опального, а полуопального (таких изредка печатали) поэта.

Помню, как охотно откликался Дымшиц на предложения «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» написать вступительную заметку к стихам того или иного обэриута. С таким «паровозом» стихи проходили даже через сверхбдительного Тертеряна, о котором я ещё расскажу.

А у меня лично отношения с Дымшицем после того, как я ушёл из Госкино, остались очень натянутыми: мы холодно кивали друг другу при встрече и ни о чём никогда не разговаривали.



Итак, я пошёл в отдел кадров Комитета по кино, где мне дали справку-вызов: дескать, в связи с тем, что принимаем его на работу, просим его перевести на заочное отделение.

По этому поводу никакая комиссия не заседала, и меня отпустили на удивление легко. Сказали только, что я должен буду досдать несколько экзаменов, которые на дневном сдавал как зачёты. Впрочем, я могу их и не сдавать, если согласен получить за них «тройки». Конечно, я согласился.

Мне всё понравилось: и внушительный дворянский особняк, в котором расположился наш Комитет, и наша огромная — на шесть столов комната с несколькими окнами, и мои коллеги, сидящие со мной в одной комнате: Лёва Рудницкий, Игорь Раздорский, Костя Ахтырский и Толя Барыкин были значительно старше меня, а Саша Мулярчик старше всего на два года, но он уже закончил аспирантуру на нашем филологическом, готовился защитить кандидатскую. Кстати, и Барыкин кончил у нас аспирантуру. Его научным руководителем был Турбин.

В определённый день ближе к концу работы мы усаживались в бархатные кресла с пепельницами в подлокотниках в небольшом зале, где нам показывали фильмы, так сказать, для общего развития: Чаплин, Феллини, Антониони, Трюффо, Хичкок, Поланский, менее известные режиссёры, но с известнейшими актёрами: Мэрлин Монро, Брижит Бардо, Симона Синьоре, Ив Монтан, Жерар Филип, Жан Габен, Марчелло Мastroяни, Генри Фонда... Старые, немые, первые звуковые фильмы и фильмы, совсем недавно снятые, только что удостоенные престижных наград на Венецианском или Каннском фестивалях. Так много прекрасных фильмов за короткий срок мне уже никогда больше не удалось повидать!

Но за всё нужно платить. И плата постепенно стала казаться мне чрезмерной, а потом — и вовсе невыносимой.

Конечно, не случайно, что Дымшиц взял меня в свою команду: я работал редактором сценарно-редакционной коллегии, которую он возглавлял. Член редколлегии ведал большим

блоком киностудий или кинообъединений. Ну, допустим, блоком Средней Азии, или Кавказа, или всего «Мосфильма», в состав которого входило несколько разных объединений. А редактор был закреплён за одним объединением или за одной небольшой студией. Он обязан быть в курсе всего, что там происходит: текущей работы и будущей. А это значит, что на моём столе аккуратной стопкой были сложены и литературные сценарии, и режиссёрские. Я должен был знать, в каком состоянии в данный момент находится запущенный на студии фильм, отслеживать любые отклонения от первоначальной его основы, одобренной нашей коллегией. И кроме того, я готовил проект заключения коллегии, принимающей или отвергающей фильм, и проект решения той же коллегии по поводу грядущего тематического плана студии.

Редакторская работа, о которой сказал мне Дымшиц, оказалась попросту цензорской. И, повторяю, не случайно, что он предложил эту работу мне. Ведь откуда он меня знал? По моим публикациям. А они, вероятно, должны были ему нравиться. Я прекрасно в то время сознавал, что такое советская власть, но в свои молодые лета был законченным циником. Почему я взял тему вступительного сочинения «Советский Союз — оплот мира и демократии»? Что я действительно считал таковым Советский Союз? Конечно, нет! Но я понимал, что требуется, чтобы произвести хорошее впечатление, и сознательно лицемерил, надеясь на поощрение — положительную оценку.

Это в стихах я ещё мог позволить себе самовыражение. А статьи мои были абсолютно шаблонны — я приноравливался к требованиям тех изданий, кто меня печатал. В то время литература чётко была поделена на два враждующих между собой лагеря «октябристов» и «новомировцев» — по главным журналам: «Октябрь» возглавлял партийный ортодокс Кочетов, «Новый мир» — либерал Твардовский. Оказавшись в одном лагере, ты считался чужаком для другого. Я сказал, что был циником? Да, но довольно наивным: я мечтал утвердить своё имя в литературе, а после скинуть маску. И был убеждён, что мне это удастся сделать в ту самую минуту, когда захочу.